Банальностью стали оды науке. Науку хвалят, воспевают, чтят. Как емко сказал поэт:

Ах, что за время,
что за век,
Ликуем и летаем.

Больше всего повезло физикам. Абстрактная схема атома (несколько перекрещивающихся вытянутых орбит с точкой посредине) стала символом XX века. Она украшает стены кафе, ее воздвигают на всемирных выставках и в профсоюзных парках. Уже не считается снобизмом поболтать об элементарных частицах, о «термояде», плазме, структуре ядра. Все чувствуют себя причастными к «интимной» (выражение академика Н. Н. Семенова) жизни материи.

Имена физиков вытесняют в словаре имена политиков и артистов. Странно, что поспевающие за веком родители еще не стали называть своих детей: Позитрон, Мезон, Пси-Волна. Вероятно, это грядет. Чем плохо звучит Нейтрон Иванович, Гамма Сергеевна?

У литературы к физикам особый счет.

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.

Стихи радировали о замешательстве в лагере человековедов. В рывке к истине физики обошли лириков. Лирика бросилась догонять их с сиреневой ветвью в руках.

Это был белый платок капитуляции.

Голоса прежних «властителей дум» покрыл молодой хор математических олимпиад в Новосибирске.

Лет десять назад спор «физиков» и «лириков» разрешили бы следующим образом. Свыше поступило бы распоряжение: дискуссия «антинаучна», она «противоречит», и ее прекратили бы.

Ныне мы пробуем разобраться: что же происходит? Почему пошла «мода» на физиков? Отчего получили «отставку» лирики?

В своей книге «Встречи с физиками» академик А. Ф. Иоффе пишет: «Не осталось и следа покровительственного тона в отношениях к нам, скорее, наоборот, чувствуешь, что от нас, после наших спутников и «лунников», ждут еще больших неожиданностей»**.

Кем были физики на заре века? Скромными теоретиками, тихими гениями лабораторий. Сейчас это люди, влияющие на баланс мировой политики.

Они расщепили атом. Они создали атомную и водородную бомбу. Они овладели силами, могущественнее которых нет на земле.

Слава физиков легла на всю науку. «Физик» сегодня не просто физик. Это ученый вообще, чем бы он ни занимался — исследованием клетки, расчетами орбит спутников или собственно физикой.

---

* *Печатается в сокращении.*

** *Иоффе А. Ф. Встречи с физиками. — Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. — С. 143.*

Раньше слово «ученый» имело один смысл. Прилагательное «ученый» означало, что человек, награжденный им, — единственный в своем роде, редкий, исключительный. Он «ученый» в отличие от всех других — «неученых». Теперь это слово утратило свою исключительность и в обмен приобрело могущество.

В наш век научные идеи получили особую стоимость. Хотя бы потому, что из идей они быстро превращаются в дела.

Флеминг открыл пенициллин, и при его жизни тот спас десятки тысяч людей. Эйнштейн установил закон эквивалентности энергии и массы, а через четыре десятилетия на его глазах была взорвана атомная бомба. Бомба, которая не появилась бы, не будь этого закона.

Люди это видят, они осознают эту связь на себе, они судят по результатам. И поэтому наука для них — это практика, это нечто материальное, отвечающее их первейшему интересу, первейшей потребности. Она лечит, дает пищу, одежду, преимущество в силе.

Все это осязаемо, все это требуется каждый день, и люди уже не подшучивают над чудаками-учеными, они преклоняются перед ними.

«Подвергай все сомнению». Этот любимый лозунг Маркса, деликатно обходившийся толкователями «Исповеди», есть лозунг ученого. «Самое важное в эксперименте, — говорит академик Семенов, — это вовсе не то, что подтверждает уже существующую, пусть даже вашу собственную теорию... *Самое важное то, что ей ярко противоречит*». (Выделено мною. — И. З.)

Познание неклассично по своей природе, его нельзя привязать к уже открытым законам. И если в жизни человек всегда тяготеет к константе (устойчивость взгляда, профессии, личной судьбы), то познание — это поток, оно, как свет, не имеет «массы покоя».

Вернемся к «физикам» и «лирикам». «Неравенство» их — вещь конкретная. Оно принадлежит времени. И без времени его нельзя объяснить.

Помимо сказанного, есть «деталь», которая существенна. Говоря раньше о физиках, как об ученых вообще, — мы забыли сделать уточнение. Речь шла не обо всех науках, а о тех, которые принято называть «точными».

Название чисто условное, точность предполагает здесь точность цифр, не больше. А разве не может быть точной история, социология, литература? Их точность — это правда.

То, что я причисляю литературу к «неточным» наукам, не совсем точно. Я уже слышу слова: «Разные методы», «система образного мышления» и т. д. Но разве дело в методе? «Предмет»-то изучения один. Это — время, человеческое общество, человек.

Мы знаем, как пострадал этот «предмет» в изображении изучавших его. Произошла переоценка, физики завоевали их сердца.

Инерция этого отношения будет держаться еще долго, люди меняются медленно. И хотя точность перестала быть привилегией физиков, и «открытия» лириков стоят уже на пороге, мы будем присутствовать при известном недоверии к ним. Видимо, еще и оттого, что и самим лирикам нужно время. Это же не просто: сегодня писал одно, завтра другое. Порой это невозможно.

«Спор» физиков и лириков нельзя третировать как детскую игру. В сущности, это был отзвук чего-то серьезного. Спорили не творцы ракет и питомцы нежных муз. И даже не «точные» и «неточные» науки.

Это было эхо той переоценки, которая произошла в нас самих, в нашей жизни, в нашем понимании вещей.

Как отнеслась к этому литература?

Сначала она обиделась. Эхо она приняла за сам спор. Один за другим в романах и повестях стали появляться бездушные механицисты, представлявшие противную сторону. Они произносили монологи о силе цифр и презирали «чувства».

Потом страсти улеглись, и физики в романах «оттаяли». Теперь в них отыскивались черты, подтверждающие, что физики... любят лирику. Кто-то вспомнил, что Эйнштейн играл на скрипке, а Планк — на рояле. И физики в романах стали делать то же самое. Они бегали на симфонические концерты, писали стихи и любовные записки. Некоторые из них поднимались до осуждения самих себя. Они осуждали физиков за пренебрежение к лирике!

В последнем романе Гранина «Иду на грозу» академик Данкевич говорит: «Подумаешь, циклотрон. Ах, еще открыли элементарную частицу. Еще десять. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное.

Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются птахи?»

Академик наивен, но это потому, что ему приходится возражать на столь же наивные контрмысли. Ни сам Данкевич, ни роман Гранина не исчерпываются этим уровнем. Они уже принадлежат к иному этапу в освоении литературой, как у нас говорят, «темы науки».

Новое это отношение нельзя определить каким-то одним словом. Оно не существует в чистом виде, остатки всех прочих отношений вливаются в него как приток. Тут и там все еще печатаются стихи и проза, где «лирики» грустят и негодуют. И даже в вещах, где преобладает этот новый взгляд, можно прочесть реплики, подобные данкевической.

Но интерес от эха переместился к существу «спора».

Мы помним ироническую веселую «Ледовую книгу» Ю. Смуула, повествующую о его мытарствах на шестом континенте. Там Смуул оказался среди чистых «физиков». Он, собственно, и бежал к ним от «суеты сует», от спертого литературного воздуха, недовольства собой.

Он думал, что среди этих молодых «богов» он найдет ясность, поймает пульс века и сам станет иным. И он изобразил этих богов с хорошей завистью, с умной любовью как людей цельных, честных, понимающих, зачем они стоят на земле. Они фигурируют в его книге как люди *дела* в противоположность ему — человеку *слова*.

Смуул все время мучается этой дилеммой и не может ее решить. Он понимает, что это вовсе не дилемма, а чувство «вины» перед теми, кто оказался полезней его. Он восхищается их знаниями, их «точностью», признаваясь себе, что его собственная «неточность» исходит не от недостатка знаний.

Смуул любуется своими антарктическими друзьями, и эта *позиция любующегося* есть главная позиция его книги. Он греется возле огня «физиков», не исследуя природы самого огня: ему довольно тепла, даваемого им. И хотя люди, которых он рисует, обаятельны и «человечны», секрет их силы остается нерассекречен, он принадлежит им...

Автор «ледового дневника» достаточно серьезен, чтобы не обижаться на «второстепенность» искусства. Он знает, что дело не в этом. Но не идет дальше *намека* на это знание. Мы лишь угадываем его, оставаясь у первой линии вопросов, поставленных временем.

Останавливается у этой линии и рассказ И. Грековой «За проходной»*. Вместе с автором мы попадаем «за проходную» энского института, в странный мир формул, электронно-счетных машин и самих физиков. Это очень милый, небанальный мир, он изображен гротескно, талантливо, но это лишь слепок с «атмосферы», с «настроения», а не с самих лиц. Если Смуул с радостью констатировал в своих богах «человечность», то здесь поэтизируется их загадочность, особость, то, что в просторечии называют «тронутость». Почти все обитатели «лаборатории № 10» непохожи на обыкновенных людей. Они условны. Они значки какой-то математической концепции, и их можно было бы назвать Альфа, Синус, Алгоритм, а не Мегатонна, Чиф и т. д., как они называются в рассказе.

Вот портрет Мегатонны: «Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-нибудь загон в зоопарке, для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг о специальности не любит. Иногда, послюнив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать, — думает он, — сам сделаю». И, действительно, делает. Способности у него необыкновенные. «От земли», — как сказал Вовка Критик.

Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не удостаивает слова того, чтобы их согласовывать: он просто роняет их и они сами слипаются в фразы. «Это без когда ничему вовсе», — говорит он. Понимай, как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может, идут к Мегатонне: последнее средство, научный таран. Глядя на формулы, он мычит, берет карандаш — «пером писать он в сущности так и не научился — и начинает орудовать».

Если б не юмор, смягчающий черты этого странного существа (именно существа, а не

---

* *«Новый мир», № 7, 1962 г.*

ПОЭТ

Он шел, отбрасывая тьму,
Большой равниною степною
И весь был черен потому,
Что солнце нес над головою.
От хуторков и от дорог
Народ сбегался удивленный,
Но даже глаз его не мог
Увидеть, солнцем ослепленный.
И был ли грустный он иль злой,
Смотрел понуро иль отважно —
Он солнце нес над головой,
А остальное все неважно.

Виктор ЕРАЩЕНКО

человека), то мы бы подумали, что перед нами один из «марсиан» Уэллса. При знакомстве с этим «сверхфизиком» дрожь берет. Кажется, он сейчас схватит вас за горло и, мыча свои «когда ничему вовсе», начнет вытряхивать «душу живу». Ему-то что: у него этой души нет.

А вот Чиф, шеф лаборатории № 10. Он пишет стихи, где упоминаются «спутник, Иисус Христос и самообслуживание». Космическая печаль сочетается в нем с реальной любовью к... голубому коту. «Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики. Чиф ставил ударения криком, и на самых неожиданных местах, например на предлогах. Ему даже не нужно было гласной, чтобы поставить ударение. «В! — кричал он. — К! — и все становилось ясно».

Эксцентричность Чифа — это броня, под которой прячется Чиф подлинный. Мы ждем встречи с ним, и наконец она происходит. Расходятся стальные швы, и Чиф признается корреспонденту: «Да, многое меняется. Мир становится неузнаваем. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями. Человечность... любовь...»

Знакомые мотивы. Перед нами та самая «птаха», к которой призывал прислушаться своих коллег Данкевич. Чиф произнес речь в защиту лирики! Чтоб мы не думали, что он такой-сякой, бездушный, бесчеловечный. Что он «за любовь» и т. д.

Знакомые мотивы, знакомые речи. Под броней оказался обыкновенный тезис: физики любят лирику.

Рассказ И. Грековой талантлив и полемичен, ему, может быть, вполне достаточно того, что в нем есть. Все-таки это рассказ, и автор в самом начале говорит нам: «Вон видите, на стене висит плакат «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья: муж, жена, ребенок, сберкнижка. У всех совершенно одинаковые лица: русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похожи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга — на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей...»

А я вам покажу нечто другое. Вы увидите людей, непохожих ни друг на друга, ни на тех, что изображают плакаты. Это удивительные, любопытные, непошлые люди...

И это И. Грекова сделала. Люди, работающие в лаборатории № 10, не имеют ничего общего со «здорово розовой» плакатной семьей. Они непохожи ни на нее, ни друг на друга. Но — только своими оболочками, своей «броней», которая так и осталась невскрытой.

Для рассказа этого, может, и довольно, для литературы — нет. Отталкиваясь от плаката, она не может рассчитывать на антиплакат. Ибо, как бы он ни был смел и остроумен, он все же плакат…

***

Фильм «Девять дней одного года» прошел по стране, увлекая за собой шлейф успеха. О нем писали, шумели, его ходили смотреть второй раз.

Интерес к физикам?

Конечно.

Но не только он. Рецензия в одной из газет начиналась словами: «Надоели дураки на экране...». Дураков в этом фильме не было. Но о них говорилось: «Дурак — это явление, так сказать, общественное... Прежде всего, дурак необыкновенно точно отражает своеобразие эпохи. Умный может оказаться и впереди эпохи, и в стороне от нее... с дураком этого не случается... Мир дураков необыкновенно разнообразен. Дурак зарубежный — это совсем не то, что наш, отечественный. Дурак от науки не имеет ничего общего с дураком административным. Ах, какой же у нас еще бытует великолепный дурак. Крепкий, надежный… Умный может ошибиться, дурак не ошибается никогда. Это поразительно. Ни одна, даже самая совершенная общественная форма, уже не может гарантировать себя от дураков. Они неистребимы...»

Эти слова физик Илья Куликов говорит другому физику — Дмитрию Гусеву.

Они не спорят о том, что важнее — стихи или формулы. Их занимает дурак — «явление общественное».

Фильм М. Ромма не имел бы такой славы, будь он фильмом *только о физиках*. Это был фильм о *современниках*.

Современной была не одна их специальность, обстановка, в которой они работали, наконец, сама работа. Современен уровень их мысли, их гражданское состояние, их отклик на то, что происходит по ту сторону проходной.

Куликов и Гусев не произносят никаких политических тирад. Монолог о дураке — пожалуй, самое «открытое» место их разговора. Все остальное спрятано вглубь, растворено в них самих, смешано с самой физикой.

Гусев и Куликов были задуманы как антиподы, по инерции старого деления — «положительный», «отрицательный». Своего рода протон, находящийся в ядре, и электрон, вращающийся вокруг него.

Но атом состоит из тех и других, объединяет протон с электроном. Они части целого.

Такое целое составляют Куликов и Гусев. Тревога Куликова — это не «рисовка», писала критика. Это и тревога Гусева, в отличие от Куликова, «зажавшего» себя, не позволяющего себе отвлекаться. Куликов «отвлекается», но вовсе не оттого, что он эклектичнее Гусева, «поверхностнее» его. Нет, если хотите, Куликов глубже Гусева, хотя тот, может быть, субъективно и счастливей его: его поглощает работа.

Мы не видим, *как* Куликов работает. Он появляется всегда свежий, чистый, «пахнет парикмахером». В отлично сидящем на нем без единой морщинки костюме он прохаживается среди атомных установок и «роняет» свои реплики.

Но по тому, как тянется к нему Гусев, как он не может без него, мы понимаем: Куликов — это тот же Гусев, только старше его, только «добрей», только гармоничней.

И если Гусеву «дурак» неинтересен, он готов махнуть на него рукой (сам выведется), то Илья страдает, видя этого дурака, он не хочет обходить его. Он рвется на доклад какого-то Цительмана, дурака в науке, «подводящего под античастицы марксистскую базу». Он хочет задать два важных вопроса.

Он не может видеть вокруг хамства, угодничества. Было время, когда Куликов «молчал». Он честно признается в этом Гусеву. Он говорит о себе зло и точно: «помалкивал». Сейчас он хочет говорить.

Линия Куликова и линия Гусева составляют контрапункт фильма. Разъедините их, мелодия разрушится. Отъедините нервный, похожий на изломанную линию путь Ильи от стремительной прямой Гусева, таран последнего от смягчающей иронии первого. Вы получите две половинки — и только.

И скепсис Куликова, и жесткое упорство Гусева — это не «странности», не «броня». Это их поиск одного из ста путей.

Поиск этот оплачивается дорого. В начале фильма гибнет Синцов. В финале — приговоренный Гусев ждет операции. Мы не знаем, выживет ли он.

Синцов — учитель Гусева. И, погибая, он передает ему дела. Но смерть эта — сложнее нехитрой символики «эстафеты».

Она потрясает нас другим. Дерзостью новых отношений человека с природой.

И в XVII, XVIII, XIX веках люди гибли при проведении опытов. И был поиск. И была расплата. Но *такого* поиска еще не было. Как и не было *такой* платы.

«Черт! Странная смерть, — говорит Синцов. — Невидимо, неслышимо, ни цвета, ни запаха — ничего. И все здоро́во. Руки, ноги, башка вот дурацкая. Жаль... а, Гусев!»

Синцов и Гусев — атомщики. Синцов — «реакторщик», Гусев — «термоядерник».

Синцов и Гусев проникли в атомное ядро. Они встали с природой «лицом к лицу» (об этом мечтал гетевский Фауст) и заставили ее делать то, что она никогда не делала.

Известно, что «на земле никогда не обнаруживались даже следы цепной реакции деления или термоядерной реакции»*. А такие, как Синцов и Гусев, вызвали ее. Они заставили материю делать то, что им хочется — вопреки ее опыту.

В человеческом, земном опыте не было ничего подобного. Смерть Синцова напомнила нам об этом.

Гусев будто нарочно присутствует при этой смерти. Он должен оценить, чего это стоит. Но — для того, чтобы пойти дальше,

И когда в конце фильма мы видим, как Гусев идет на фоне огромной белой стены, совершенно пустой стены, занимающей весь экран и не оставляющей места для полоски неба, мы понимаем, что он бессмертен.

Сердце сжимается при мысли, как *мал* человек и как *велика* стена. Мы смотрим на стену и не можем оторваться от нее. Но вот наш взгляд перемещается на человека. Он движется, он завладевает нами. И мы смотрим только на него, думаем только о нем. Стена — уже *не сила*, она — фон.

Есть в фильме сцена, которая доводит эту *идею движения* до конца. К ожидающему операции Гусеву является «Митя-второй» — аспирант, медик. Митя-второй отдает «Мите-первому», то есть Гусеву, порцию своего костного мозга. Это единственный шанс спасти его. Но «Митя-второй» — не только донор.

«**Митя**. Видите ли... я — заинтересованное лицо: вы — тема моей диссертации... Дробное облучение и лучевой удар одновременно — это редчайший случай... великолепно...

Гусев. Просто чудесно.

Митя. Но вы должны тщательно, подробно, как полагается ученому, информировать...»

Разговаривают два ученых, два человека, прекрасно сознающих, о чем они говорят. Умирающий Гусев должен помочь науке. Чем? Наблюдениями над самим собой, над своей болезнью и, может быть, смертью.

Кощунственно? Жестоко?

В воспоминаниях об Эйнштейне академик Иоффе пишет: «До последних дней своей жизни он не переставал работать над единой теорией поля. Он не страшился смерти. Больше всего его огорчала мысль, что он уйдет из жизни, не доведя своей теории до конца»**.

Мне кажется, слова «он не страшился смерти» не обронены случайно. Это не традиционная дань «великому», не гипербола. По-моему, Иоффе пишет это и о себе. Он пишет о бесстрашии знания, которое если и не выше обыкновенного физического страха смерти (сказать это может тот, кто прошел через это), то достойно противостоит ему.

Страшно и Гусеву. И он шутит, скрывает этот страх. Но мы можем быть уверены, что он выполнит все просьбы «Мити-второго», потому что это его жизнь, это то, из чего он состоит и без чего он умрет раньше, чем его поразит физическая смерть.

Гусев часто повторяет в фильме слово «нужно». Ради этого «нужно» он спешит, подвергает себя опасности, делает все.

Думая сейчас о «Девяти днях», я не забываю, что это фильм. Это кинолента, а не книга, и здесь спрос иной, чем в литературе.

---

* *Академик Н. Семенов. «Правда», 26 ноября, 1962 г.*

** *А. Ф. Иоффе. «Встречи с физиками», с.93.*

Но процесс осознания один. Искусства движутся сообща, и прорыв на одном из участков есть прорыв всего фронта.

Прорыв, осуществленный М. Роммом, был поддержан в романе Д. Гранина «Иду на грозу».

Роман пошел дальше фильма. Сжатые реплики физиков здесь расшифровывались, «дурак как явление общественное» уже не был героем диалога, он вводился как живое лицо.

Идею поиска, идею бесстрашного движения к истине принимал и возвеличивал гранинский Дан.

Дан (так зовут ученики Данкевича) похож на Гусева. Но это Гусев, проживший несколько жизней. Дан гениален, его ничто не страшит. Чувство внутренней свободы настолько сильно в нем, что она становится для него и свободой внешней.

Дан, как и Гусев, свободен от «частностей». Он весь сосредоточен на физике, она поглощает его целиком.

Дан — больше, чем Куликов и Гусев вместе взятые. Он не только так же настойчив в поиске, как Гусев, и «либерален в мыслях», как Илья. Его требование истины выливается в поступки. Причем Дан видит не одного «дурака». Он видит и кое-что поопаснее.

Дану в романе противостоит свой Цительман. Это академик Денисов, человек, играющий на «памяти прежних страхов». Денисов предлагает смелые прожекты по уничтожению грозы. Он гарантирует *«связь с производством»*, быстрый *практический* успех. *Слова*, которые произносит Денисов, имеют завораживающую *силу*. Пусть даже они не подтверждены ничем, они сильны *сами по себе*, *отдельно от дел*. Потому что еще держится вера в них и страх перед ними.

Дан предлагает вместо веры — знание. Пусть горькую, но правду. Он знает, что только это может сегодня привести к делу и означает само дело. Только знание, только правда способны преодолеть инерцию времени, излечить от страха. Знание, вера, точность, а не исцеляющая на время ложь. Все равно раны, исцеленные ложью, заболят снова. И их боль будет еще большей.

«Бог ты мой, поймите, — говорит Голицыну, упрашивающему его не выступать против Денисова. — Это ж *не случай*, это как *инфекция*, если не противиться, пойдет по всему организму, доберется до нас, и тогда будет поздно. Денисов вводит в заблуждение, мы обещаем сказать правду. *Чего бояться? Все еще живем памятью прежних страхов*. Эх, вы...» (выделено мной. — И. З.).

Чем отличается Дан от Дон Кихота? В романе есть прямой намек на их сходство: «Вскинув огромную голову с седеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оленя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в латах перед пулеметом».

Так выглядит Дан на ученом совете, где его «расстреливают» вопросами о связи его работ с производством.

Дан не боится этих вопросов. И если он беззащитен, то не оттого, что наивен, что, кроме личного мужества, у него нет никаких доказательств. Он не просто верит, что он прав. Он знает это. Но другие, знающие это же, молчат. Они боятся слов, которые произносит Денисов. Они не поддерживают Дана. И поэтому он беззащитен.

Но это лишь состояние минуты. Состояние колебания. И чаша весов склоняется в сторону Дана.

Дан *знает*, что он прав.

Это и отличает его от Дон Кихота. Конфликт Дон Кихота тоже был конфликтом веры и знания. Только там роли распределялись наоборот. Хозяин Санчо Пансы представлял веру, а его противники — знание. Они были «реалисты», а он «идеалист». Он был «романтиком», наивным, добрым, незащищенным перед «земной» правдой рыцарем. Он *не мог ничего* доказать. Его доказательством была его храбрость.

И поэтому «реалисты» оказывались сильней его. Они побеждали его практически, хотя он и оставался непобежденным философски. На практическую победу он мог рассчитывать очень не скоро.

Дан — реалист. Он воюет не с ветряными мельницами и не копьем Дон Кихота. Он учитывает обстановку.

Он знает, что день, в который он выступает, не тот, что был вчера. Он раскрепощается от «прежних страхов», от магии слов, от шантажа Денисовых. Инерция, на которую рассчитывают те, неспособна сдержать волны очищения. Новое невозможно загнать внутрь, повернуть обратно.

И если в романе сначала появляется шутливое уравнение «Д (Данкевич) — Д (Денисов) = 0», то потом его сменяет новое: Д — Д = прогрессу.

Между этими двумя «Д» стоит Тулин. Если Денисов в физике и в жизни делает откровенную

ставку на «неточность», а Дан и тут и там требует обратного, то Тулин «гибрид». «Галилей все-таки отрекся, — говорит он. — Ради того, чтобы иметь возможность работать и дальше. Он был деловой товарищ»; «хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать».

«Черт» в данном случае — Денисов. Это уже не тот Денисов, что был несколько лет назад. Он поколеблен, напуган, он согласен на компромисс. И хотя он еще наступает, за этим прячется страх, неуверенность, готовность к союзу с Данкевичами. Раньше он шел на уничтожение их, теперь он считается со «временем». Пусть живут Данкевичи, и пусть живет он. Он согласен на равновесие, на сосуществование. В глубине души он еще надеется, что все повернется наоборот, но эта надежда похожа на тающий кусочек льда. Она мала, и пока он хочет устроиться во времени, обжиться в нем. Поэтому он готов принять на работу Тулина, разрешить тому его «тему», противоречащую его собственной «теме», лишь бы Тулин не посягал на него в целом, признавал его власть.

Денисов не дурак. Он рассчитывает на этот компромисс, на эту уступку со стороны Тулина. Он знает, что тот в душе проклинает его. Но это устраивает его, он не щепетилен. Статус-кво, которого он добивается, ему дороже правды.

Цинизм Тулина — это то, за счет чего он рассчитывает продержаться. А может быть, и склонить весы в свою пользу...

Тулину нет дела до «весов». Он ставит выше них физику. «Наука сделала нас рационалистами», — говорит он. И когда ему Крылов пытается доказать, что «есть вещи сильнее всякой науки и логики», он парирует: «По-твоему, лучше слезы точить, жалобы писать. Нет, миленький, перед такими, как Денисов, нечего стесняться. С ними надо бороться их же методами... Нечего брезговать. Притвориться? Пожалуйста... Врать? Готов. На все готов. Потом успею руки помыть». Это сказано отталкивающе откровенно. Но слова можно было бы поставить другие. Благообразнее, не больней. Смысл тулинской позиции от этого не изменился бы.

Позиция эта кажется привлекательной. Потому что она дает Тулину возможность делать дело, заниматься физикой. Что важнее — физика или Денисов? Искоренение одного бюрократа или управление силой грозы? Как раз этого добивается Тулин. Что же будет полезнее — не только для него, но и для людей?

Данкевич пожертвовал «физикой», выступил против Денисова и получил инфаркт. У него были неприятности. В конце концов сердце не выдержало, и он умер. А сколько бы он еще сделал, останься он жить?

Тулин хочет жить. В любой обстановке — но жить. Чтоб «делать дела», двигать науку. Он считает, что сейчас — самое мудрое стоять между двумя «Д». Не быть ни тем и ни другим. И быть и тем и другим. Признавать на словах то, что делает Денисов, и делать на деле то, что делает Дан. Быть Денисовым в жизни и Даном — в физике. Быть честным «в душе» и нечестным «на людях».

Тулин самолюбив и тщеславен. Ему нужен успех. Это есть в нем. Но он еще и талантлив, он искренне любит «дело». И это дело, и его талант нужны людям. И ради всего этого вместе он идет на приспособленчество. Если Агатов — просто подлец, у него ничего нет за душой и он компенсирует эту пустоту подлостью, то Тулин хочет сберечь то, что в нем есть. Не только ради себя (Агатов думает только о себе), но и ради всех.

Будь Тулин просто «карьерист», он не представлял бы интереса. Беспокойся он лишь о себе, мы бы поняли, какого рода его талант.

Тулин — дитя времени, того времени, которое наш день принял по наследству и которое мы могли бы считать прошлым, если б оно не жило в нас самих. Это время еще нами не оценено, мы все еще оглядываемся на него, потому что мы вышли из него и без него не можем понять, кто же мы. Это история, но история столь близкая, как наше детство, наша юность, наша зрелость.

И часто сознавая, что новое время пришло, что оно непохоже на то, которое было до него, мы все же душой, всем внутренним воспитанием своим принадлежим тому, «старому» времени, хотя и не хотим этого и протестуем против самих себя.

Одни — меньше, другие — больше, третьи — совсем нет.

Тулин — протестует. Но это протест умственный. Он не может изменить его существа. А существо его живет «памятью прежних страхов». Оно вышло из тех лет, когда разрыв между «словом» и «делом» был в порядке вещей, а «делать дело» можно было, поступаясь «принципами».

Поэзия

Путь тайный вычисляя по созвездиям,
Не отрекаясь от земных забот,
Идет своей дорогою Поэзия,
Бог ведает, куда ее ведет.

Несется мимо колесница времени,
Клубя округ угарный серный чад.
И города — тревогою беременны —
Увечно и надорванно кричат.
Опасно расплодилось племя каинов.
Любовь и совесть пущены в расход.

...А по земле усталой неприкаянно
Поэзия обочиной идет.
Бог ведает, что ей в дороге видится,
Где легкие следы ее легли?..

Насмешница,
плачея,
ясновидица —
И падчерица вечная Земли,
Сквозь каменные гиблые урочища,
Израненные грустные леса
Идет она —
Печальница,
Пророчица,
Вбирая в песню птичьи голоса,
Скорбь человечью,
Горечь беспросветную,
Надежды озаренной вольный взлет,
И зов Любви,
И красоту бессмертную...
Бог ведает, куда она идет.

Но не туда, куда кривая выведет,
Где за измену платят золотой...

Кромешность тьмы она пронзит и вызвездит
Своею неподкупной правотой!
А ей вослед — не за неверной славою,
Но по веленью сердца и ума —
Сквозь тернии —
поэтов племя странное,
И я к нему причислена сполна.
Мехами да шелками не балована,
С ладонями, привычными к труду,
Благодаря за все, что мне даровано,
Тропой своей негромкою иду.
Свободная и нищетой богатая,
Всем существом сопротивляясь тьме,
Иду за ней —
И Слово незакатное
живет,
болит и светится во мне.

Лада МАГИСТРОВА

Сейчас мы знаем, что это самое тяжелое и самое непростимое из всех последствий культа личности. Ибо это *человеческое последствие*, его нельзя «отменить», как сам культ. Оно живет в человеке, оно — он сам.

Культ не сделал всех Тулиными. Но он дал их. Он рассчитывал на них. Кроме Денисовых, ему нужны были Тулины. Те, что умели работать и умели молчать, не вмешиваться, не требовать участия в суждениях о самих себе. Культ не мог долго держаться на «аферах» Денисова. Ему нужны были умные «деловые люди» Тулины-Галилеи.

Постепенно их чувство, их инстинкт сохранения себя и своего «дела» превращался в убеждение, в их «линию» жизни. Тулин убежден, что этой линии не избежать.

Жить можно только так, а не иначе.

Между Даном и Тулиным в романе стоит Крылов. Крылов ученик Дана и друг Тулина. Он колеблется между тем и другим. Он проходит через искушение Тулина, чтоб вернуться к Дану.

Тулин подкупает Крылова своей верностью делу. Дело — это то, что Крылов тоже ставит выше всего — ради физики он готов на все. В Крылове, как в Тулине, живет потенциальный Дан. Точнее, в Тулине он жил, а в Крылове он живет. И этого Дана хочет убить в нем уже не Денисов, не подобные ему, а сам Тулин. Он медленно, но верно ведет Крылова за собой, отвоевывая его у Дана и стараясь сделать из него второго Тулина.

Его беспокоит цельность Крылова, его данкевичская непримиримость, тяжелое счастье его честности. Тулин уже не хочет, чтобы только он один был такой. Он хочет втянуть в свою орбиту других, потому что они не дают ему до конца быть Тулиным, потому что бередят его совесть и *мешают* ему.

Цепная реакция: Тулины плодят Тулиных, Крылову надо выбирать: кем быть.

Беспощадная, «мучительно нудная, бесконечная требовательность Дана» его давит, он боится этого постоянного накала, постоянного свечения, этой полной освобожденности. И если по характеру он стоит ближе к Дану, то Тулин притягивает его житейски. Он молод, он не чужд радостей бытия, и Тулин предлагает ему сочетать эти радости с наукой.

И Крылов идет за ним. Уступая и отступая, он бросает Дана и отправляется в заграничную командировку, он отдается перипетиям любви, он «не лезет на рожон».

Смерть Дана возвращает его к самому себе. И к его делу. Он снова бросается в изучение атмосферного электричества, снова становится тем же Крыловым и на этот раз вместе с Тулиным продолжает свою «тему». Его «тема» и «тема» Тулина сошлись, они теперь одно «дело», и им сейчас по пути.

Крылов еще не осознал до конца, что такое Тулин, он еще любуется его удачливостью, «смелостью», талантливостью. Он верит, как и сам Тулин, что компромиссы не могут изменить его существа, что это «временное», «внешнее» и что потом, когда победит их «дело», можно будет «отмыть руки», снова стать самим собой.

Тулин успокаивает его: «Потом мы наверстаем, сейчас решает тактика». Он грозится отомстить Агатову: «Придет время, я ему припомню». А пока заключает с Агатовым сделку — «отдает» ему Ричарда, честного и чистого парня, поверившего в Тулина, как в бога.

«— Ну а что же будет с Ричардом? — спросил Крылов.

Тулин вскочил, опрокинул стул.

— Ричард! Ричард! Балаболка твой Ричард! Нашел время ссориться. Так ему и надо. И ты не лезь. Ты не политик, ты ни черта не понимаешь... для меня прежде всего условия работы и результаты. Я никого не пожалею ради них. Хоть бы кем угодно ни пришлось пожертвовать».

Крылов потрясен. Раньше он прощал Тулина. Прощал ему все, потому что тот «жертвовал» самим собой. Сейчас он готов жертвовать другими. Уже не философски, потому что и раньше его компромисс приносил вред не одному ему, а реально. Он жертвует не «идеями», а человеком — близким ему, верным ему, готовым за него сражаться, не мешающим его «тактике».

Это уже не страдающий Тулин, это Тулин, приносящий страдания. Вероятно, есть какой-то предел «уступкам». Этот предел Тулин переступил на глазах Крылова. И Крылов понял — Тулин уже никогда не вернется к самому себе. Он вошел в ту дверь, в которую можно войти, но невозможно выйти.

Полную цену тулинской «тактики» Крылов узнает позже.

Гибель Ричарда, бросившая тень на все «дело», заставляет Тулина отказаться от самого «дела». Он знает, что «дело» это верное, что правы они с Крыловым, а не приехавшая расследовать аварию комиссия. Но он боится. Страх трясет

его с головы до ног. Он боится компрометации, снятия с работ, боится тех самых внешних потерь, которые он считал преходящей «тактикой».

Эта «тактика» стала им самим. Она охватила его, как рак, проникла во все клетки. «Второй раз жить я не буду, — торопится он объясниться с самим с собой. — Сейчас надо найти что-то быстрое, эффективное. Наверстать... Я хочу быть как все люди, я не желаю быть благодетелем человечества».

Тулин хочет жить, он хочет быть уже «просто человеком», а не физиком, он согласен на любую работу, лишь бы выжить, уцелеть, остаться. Это уже страхи не прежнего Тулина, это страхи Агатова, страхи за самого себя, за свою шкуру.

Так исполняются вещие слова Дана об «инфекции», которая «пойдет по всему организму... и тогда будет поздно».

Человек необратим. Временное, внешнее, как думал Тулин о своих заигрываниях с правдой, становится внутренним, постоянным. «Раздвоение» приводит к своего рода цельности.

Именно поэтому Тулин отступился от дела — от того, чем он жил и ради чего был Тулиным. И когда он это сделал, Крылов понял, что наступило «прощание».

Слишком велика оказалась плата за «тактику». Это плата самим собой, всем, что в тебе есть. Она забирает тебя понемногу, потом требует еще и еще, «взнос» следует за «взносом», и ты уже перестаешь быть тем, кем был. Жертвуя человеческим в себе, ты перестаешь быть человеком.

Тулин прав: второй раз он жить не будет. Невозможно быть одним, а потом, оставив все, стать другим. «Умыть руки», «наверстать», «припомнить» все Агатовым. Это невозможно, как невозможна вторая жизнь. В человеческой жизни нет «черновика», она вся — «беловик».

Тулин не сделался злодеем, не превратился в Денисова. Он снова поехал в Москву, получил там работу, даже имеющую близость к спутникам. И он будет работать, работать, насколько это позволит, честно и с пользой. Но он никогда уже не будет тем, кем он мог быть. Он никогда не будет ни Крыловым, ни Даном, ни даже тем Тулиным, каким он был до сих пор. Он будет удаляться от них все дальше и дальше, удаляться от самого себя, расплачиваясь за «успех» наличными души.

То, что произошло с Тулиным, — это не «разоблачение», не «крах» карьериста. Это трагедия разрушившейся личности, и эту трагедию предвидит Дан.

Чего не хватает мне в Дане? Мне не хватает его наслаждения. Мне нужен хотя бы один квант из той порции счастья, которое дает Дану работа. Счастья, которое делает его тем, что он есть. Которое дает ему право сказать: «Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи».

Я хочу понять это. И я хочу понять, как недостача простых человеческих радостей, которые никто еще не перестал считать счастьем, уравновешивается его счастьем.

Я хотел видеть это в Гусеве и хочу видеть это в Дане.

Я понимаю, как это трудно, какая это задача — показать Дана изнутри. Тут не сошлешься ни на чей опыт. Литература изображала кого угодно, но не физиков. Их было так мало, что их область казалась особой. И к тому же Дан из особых особый. Он теоретик, он представляет «недоступный высший мир чистой мысли».

Но мир этот, если в нем живет человек, не может быть недоступен. И не потому, что такова сила силлогизма. Потому что «ничто человеческое не чуждо» самой мысли.

Как все это будет показано? Выдержат ли новую нагрузку «старые» инструментарии литературы? Нагрузку дановского мышления, его усложненных переживаний, «диалектики» его чувств!

Хватит ли для Дана таких категорий, как «тип», «характер», «психологизм»? Не устарело ли это все, как устарели понятия старой классической физики — понятия о времени и пространстве? И не нужна ли здесь своя новая «квантовая механика» взамен прежней — классической?

Об этом спорят, и стук мечей столь же решителен, как в поединке «физики» — «лирики».

Этот шум не задевает меня. Я отхожу в сторону, слышу приглушенные звуки «битвы» и думаю, оглядывая то, что я здесь написал: нужно только одно — нужна правда.

Это нужно нам. И это нужно времени, которое хочет знать, какое оно, чтобы идти дальше.

№ 2, 1964 г.